

В. П.
АВЕНАРИУС

ШКОЛА ЖИЗНИ
ВЕЛИКОГО
ЮМОРИСТА



Ученические годы Гоголя

Василий Авенариус

Школа жизни великого юмориста

«Public Domain»

1899

Авенариус В. П.

Школа жизни великого юмориста / В. П. Авенариус — «Public Domain», 1899 — (Ученические годы Гоголя)

«...Мнительный по природе Гоголь настолько вдруг упал духом, что, уткнувшись в свой плащ, почти не глядел уже по сторонам. Да правду сказать, и глядеть-то было не на что: от заставы вплоть до Обуховского моста попадались только там да сям убогие, одноэтажные домишки, разделенные между собою длиннейшими заборами и пустырями. Пробивавшийся сквозь замерзшие окна этих домиков скудный свет был единственным уличным освещением, если не считать натурального освещения бесчисленных звезд, все чаще и ярче проступавших в вышине на темном фоне неба...»

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	16
Глава четвертая	23
Глава пятая	30
Глава шестая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Василий Петрович Авенариус

Школа жизни великого юмориста

Биографическая повесть

Глава первая

С заоблачных высей на четвертый этаж

- Якиме!
- Эге!
- Не видать еще заставы?
- Не видать, панычу.

Первый голос исходил из глубины почтовой кибитки; второй отзывался с облучка и принадлежал сидевшему рядом с ямщиком малому из хохлов: национальность его обличалась как характеристичным выговором уроженца Украины, так и висячими колбасиками усов, заиндевших от декабрьского мороза и придававших нестарому еще хлопцу вид сивоусого казака.

Нетерпеливый паныч ему, однако, не поверил. Приподняв рукою край опущенного рогожного верха кибитки, он высунул оттуда свой длинный, загнутый крючком ном. В самом деле, впереди тянулось бесконечной лентой царскосельское шоссе с двумя рядами опущенных снегом берез и терялось вдали в полумраке ранних зимних сумерек; по сторонам же безотрадно расстилались однообразною белою скатертью поля да поля, по которым разгуливал вольный ветер. Налетев на кибитку, он не замедлил обвеять снежным вихрем любопытствующий нос, да кстати пустил целую пригоршню порошистого мерзлого снега и под кузов кибитки к сидевшему там другому молодому путнику, так что тот взмолился ради Христа опустить рогожу и плотнее запахнул в приподнятый воротник своей меховой шубы.

То были двадцатилетний Гоголь и его однолеток, однокашник и друг детства – Данилевский. Полгода назад – в июне 1828 года, – окончив вместе курс нежинской гимназии «высших наук» с чином четырнадцатого класса, они направлялись теперь в Петербург – один для гражданской карьеры, другой – для военной, для которой, впрочем, ему предстояло еще сперва одолеть военные науки в школе гвардейских подпрапорщиков.

– Мы точно обменялись натурами, – заметил приятелю Гоголь, – ты мерзнешь в своем еноте, а я в моем старом плаще не чувствую даже мороза. А отчего? Оттого, что я буквально горю нетерпением...

– Да и мне очень любопытно взглянуть на Петербург, – отвечал Данилевский, – что это за диковина – Невский проспект?

– А знаешь что, Александр, – подхватил Гоголь, – как только прибудем, так тотчас же отправимся на Невский?

– Понятно, если вообще поспеем. Ведь теперь, пожалуй, седьмой уже час, а когда еще порешим с квартирой, когда доберемся до Невского...

– Правда, правда, черт возьми! Как, бишь, был тот адрес, что ты записал для нас на последней станции?

- У Кокушкина моста, дом Трута.
- Верно. Эй, ямщик! Ямщик обернулся.
- Что, барин?
- Далеко ли от Кокушкина моста до Невского?
- От Кокушкина? Да версты полторы, почитай, будет.

– А когда закрывают на Невском магазины?
– Да которые в восемь, которые в девятом.
– Ну вот, ну вот! Наверное, опоздаем.
– Так хоть на красавицу Неву полюбуемся, – сказал Данилевский. – Ведь Кокушкин мост, ямщик, через Неву?

– Эвона! – усмехнулся ямщик. – Через Катерининскую канаву. До Невы оттоле сколько еще улиц и переулков. Да и смотреть-то на Неву чего зимою? А вот тебе и Питер.

– Где? Где?

Ямщик указал кнутовищем направо и налево:

– Вон огонечки светятся.

В самом деле, в отдалении и справа и слева сквозь вечерний сумрак мелькали, мигали десятки, сотни огней.

– Наконец-то! – заликовал Гоголь. – Александр! смотри же, смотри: Петербург!

Оба чуть не на полкорпуса высунулись из-под кузова кибитки.

– Ну, Невского тут, пожалуй, и не разглядишь, – заметил Данилевский.

– А я уже совершенно ясно вижу!

– Внутренним оком поэта?

– Вот именно. Вокруг каменные громады в пять, в шесть, в десять этажей... Колонны, балюстрады, гранитные ступени; по бокам – львы да сфинксы; в нишах статуи... Великолепие и красота изумительные, неизобразимые!.. А это что в окошке магазина? Фу ты пропасть! Целый Монблан, Эльбрус книг самоновейших, неразрезанных, с свежим еще душком типографской краски, слаще амбры и мирры... Ай-ай-ай, что за миниатюрное издание! Душу отдать – и то мало... А там вдали что светится, играет таким ярким огнем, что перед ним все эти бесчисленные брызги ламп, свечей и фонарей как плоски меркнут? Не комета ли? Нет, адмиралтейский шпиль – путеводная звезда для всего Петербурга, для всей России!.. Черт тебя побери, Петербург, как ты хорош!

– Ты, Николай, сегодня что-то особенно в ударе, – прервал Данилевский разглагольствования своего друга-поэта. – Молчишь себе, молчишь, да вдруг прорвешься. Но видишь ты до сих пор один каменный бездушный город...

– Бездушный! Сам ты, душенька, бездушный, коли эти камни душе твоей ничего не говорят! Но вот тебе и люди: каждый в отдельности среди этих вековечных созданий человеческой мысли, человеческого искусства – мелкий, ничтожный мураш, но в массе – внушительная сила.

Какое торжество готовит древний Рим?

Куда текут народны шумны волны?..

Кому триумф?..¹

Все, вишь, останавливаются, озираются на одного человечка, который скромненько плетется по тротуару. Кто же сей? С виду он неказист и прост, но всякий его оглядывает с особенным почтением, всякий готов воскликнуть: «Да здравствует Гоголь! Нагл великий Гоголь!»

Выкрикнул это будущий триумфатор с таким одушевлением, что поперхнулся, захлебнулся морозною струею ударившей ему прямо в лицо и в рот сиверки и жестоко раскашлялся. Данилевский поспешил усадить приятеля на место и спустить сверху рогожу в защиту от нового порыва ветра.

– Экий ты, братец! Здоровье у тебя и без того неважное, а матушка твоя взяла с меня слово беречь ее Никошу как зеницу ока. Того гляди, схватишь капитальную простуду.

¹ Из «Умиряющего Тасса» Ф. Батюшкова.

Гоголю было не до ответа: в течение нескольких минут он непрерывно кашлял и сморкался.

– А вона и трухмальные! – раздался тут с облучка голос возницы.

– Какие трухмальные? – переспросил Данилевский.

– А ворота, значит. Данилевский расхохотался.

– Триумфальные! Ну, брат Николай, как бы твой триумфальный въезд не обратился тоже в трухмальный.

Кибитка остановилась у городской пограничной гауптвахты перед спущенным шлагбаумом. Подошедший солдат потребовал у проезжающих паспорта. Когда он тут осветил фонарем под кузов кибитки, у него вырвалось невольное:

– Эй, барин! Да ты ведь нос себе отморозил. Гоголь схватился рукою за нос, который у него давно уже пощипывало.

– Ну, так, напророчил! – укорил он приятеля. – Не угодно ли делать завтра визиты с дулей вместо носа!

– Снегу, Яким, поскорее снегу! – заторопил Данилевский, которому было уже не до шуток.

Пока оттирали злосчастный нос, паспорта на гауптвахте были справлены и шлагбаум поднят.

– С Богом!

Мнительный по природе Гоголь настолько вдруг упал духом, что, уткнувшись в свой плащ, почти не глядел уже по сторонам. Да правду сказать, и глядеть-то было не на что: от заставы вплоть до Обуховского моста попадались только там да сям убогие, одноэтажные домишки, разделенные между собою длиннейшими заборами и пустырями. Пробивавшийся сквозь замерзшие окна этих домиков скудный свет был единственным уличным освещением, если не считать натурального освещения бесчисленных звезд, все чаще и ярче проступавших в вышине на темном фоне неба.

– Ну, столица! И фонарей-то не имеется! – воскликнул Данилевский. – Ничем, ей-Богу, не лучше любого уездного городишки.

Гоголь отозвался сердитым «гм!». Зато ямщик, слышавший такое легкомысленное замечание молодого провинциала, счел нужным вступить за честь столицы.

– Ты, барин, Питера нашего, не выдавши, не хай! Это – пригород; за Фонтанкой только пойдет самый город.

И точно, по ту сторону Фонтанки потянулись почти сплошные ряды каменных домов, двух-, трех- и даже четырехэтажных, а перед домами довольно редкая цепь тусклых масляных фонарей.

– Вот тебе и фонари, – сказал ямщик.

– Так и сверкают! – пробрюзжал из-под своего плаща Гоголь. – Сами себя освещают.

– А вот и базар наш – Сенная, – продолжал поучать ямщик, когда они добрались до Сенной площади, запруженной, по случаю рождественских праздников, кроме постоянных ларей и открытых навесов еще сотнями крестьянских саней со свинными тушами и горами всякой живности. – Есть, небось, на что посмотреть! А вам-то от Кокушкина моста уж как способно: хоть каждый день ходи. Вам чей дом-то?

– Трута.

– Эй, ты, кавалер! Где тут дом Трутова? Топтавшийся с ноги на ногу от мороза у своей будки будочник ткнул алебардой вниз по Садовой.

– Вон на углу-то, как свернуть к мосту, видишь домино? Он самый и будет.

Когда кибитка остановилась перед большим четырехэтажным домом, Яким соскочил с облучка и разыскал под воротами дворника, а тот, получив от Данилевского пятак, услужливо проводил молодых господ вверх по лестнице в четвертый этаж. На одной лишь первой пло-

щадке коптела печальная лампа; за ближайшим поворотом начался полумрак, который чем выше, тем более все сгущался. Ступени вдобавок обледенели, и Гоголь, поскользнувшись, едва удержался за плечо товарища.

– Подлинно столичные палаты! – сказал он. – Что, дворник, скоро ли доползем?

– Доползли-с.

На стук в дверь изнутри послышался хриплый собачий лай, потом шаги и женский голос:

– Кто там?

– Это я, Амалия Карловна, дворник с приезжими господами: комнаты у вас снять хотят.

Железный крюк щелкнул, и дверь растворилась. Перед приезжими предстала со свечью в руках барыня средних лет в чепце, в которой и без ее иностранного акцента, по чертам лица и опрятному наряду не трудно было признать немку.

– Войдите, пожалуйста! – пригласила Амалия Карловна, отступая назад в прихожую. – А ты поди, поди! – махнула она рукой дворнику, как бы опасаясь его вмешательства в предстоящие переговоры с новыми жильцами.

Гоголь был, видно, уже порядком простужен, потому что от внезапно брызнувшего ему в глаза света разразился таким звонким чихом, что хозяйка ахнула: «Ach, Herr Jesus!» – и отшатнулась, а вертевшаяся у ног ее мохнатая собачонка, поджав хвост, с визгом отретировалась за свою госпожу.

Данилевский, повесивший между тем на вешалку свою тяжелую енотовую шубу, стал объяснять барыне, что на последней станции в Пулкове они прочли ее объявление о сдаваемых комнатах.

– О, да, да! Две как раз еще не заняты, – засуетилась она и провела молодых людей из прихожей сперва в одну пустую комнату, потом в другую.

– А мебель-то где же?

– Мебель? – словно удивилась она и принялась излагать чрезвычайно убедительно, что в Петербурге-де солидные молодые люди («solide junge Herren») всегда обзаводятся собственной мебелью...

– Но при нас еще и человек...

Для «человека» Амалия Карловна готова была поставить в коридоре железную кровать, и все за те же сто рублей в месяц².

– Сто рублей! – ужаснулся Данилевский. – Может быть, с едою?

Оказалось, что без еды, но жильцам предоставлялось право без особой надбавки варить себе кушанье на хозяйской кухне.

– Но это и все! – решительно заключила Амалия Карловна, взмахнув по воздуху своим шандалом, как фельдмаршальским жезлом.

– Неужели ничего не спустите?

– Ни копейки!

– Придется, кажется, покориться, – шепотом заметил приятелю Данилевский.

– Молчи! – тихо буркнул тот и как-то особенно добродушно и приветливо заглянул снизу в строгое лицо квартирной хозяйки. – А знаете ли, почтеннейшая Амалия Карловна, чем более я этак всматриваюсь в ваши черты, тем более они мне кажутся знакомыми и даже родственными. Посмотри-ка, Александр, ведь ни дать ни взять тетушка Пульхерия Трофимовна?

– И то правда, – согласился Данилевский, с трудом подавляя усмешку: хотя у Амалии Карловны, благодаря легкому пушку над верхнею губою, и можно было при желании найти отдаленное сходство с некоей Пульхерией Трофимовной, пожилой барыней-помещицей, которую они оба встречали когда-то в деревне, но Пульхерия Трофимовна ни в какой степени род-

² До сороковых годов счет у нас был ассигнационный: на 1 рубль серебром приходилось ассигнациями 3 р. 50 к.

ства не приходилась тетушкой ни Гоголю, ни Данилевскому, и особенной привлекательности в ней до тех пор никто еще не находил.

– Только Амалия Карловна, понятное дело, куда красивее, да и лет на двадцать моложе, – продолжал Гоголь. – Простите за нескромный вопрос: ведь вам не более тридцати?

Улыбка удовольствия раздвинула сжатые губы Амалии Карловны.

– Ну да! У меня уже сын – такой же большой, как вы.

– Вы шутите? Это просто невероятно, непостижимо! Но сын у вас, верно, не свой, а мужнин?

– Нет, свой.

– Удивительно! *Ganz wunderbar!* Так как же нам быть-то, *meine liebe Madam*? Сто рублей нам, право, не по карману. Сердце у вас, я знаю, предобренькое. Лицо ваше не станет обманывать! Уступите, ну, ради сына?

Просил молодой человек так умильно, глядел на нее такими маслянистыми глазами (благодаря отчасти и насморку)... Амалия Карловна минутку, видимо, колебалась, однако выдержала характер.

– Извините, господа, но комнаты у меня никогда не ходили дешевле.

Гоголь тяжело вздохнул и с чувством начал сморкаться.

– И изволь-ка теперь, простуженный, искать себе по городу другого пристанища! Ну, что же делать?! *Was thun?!* Но на прощанье, мадам, вы не откажете мне в последней милости – в сале от вашей свечки для моего несчастного носа?

В последней милости мадам не отказала. Гоголь был, казалось, искренне тронут.

– И жилось бы нам у вас, как у Христа за пазухой... Ну, да не задалось! Прощенья просим, *Nebe, gute Madam*, за беспокойство. Идем, Александр.

– *Warten Sie!* – остановила их в дверях хозяйка. – Двадцать рублей я, так и быть, сбавлю.

– Что я говорил? Сердце у вас все-таки ангельское! Я уверен, что еще десяточек спустите.

– О нет! Восемьдесят рублей в месяц – дешевле никак нельзя. И только потому, что хорошие, вижу, господа...

Друзья украдкой переглянулись. «Больше не сбавит», – прочли они в глазах друг друга.

– Но тюфяки-то на одну ночь у вас найдутся?

– Может быть, и охапка дров и самовар! – добавил Данилевский. – Комнаты эти как будто не топлены, даже пар изо рта идет.

Нашлись и тюфяки, и дрова, и самовар. Тем не менее, или, может быть, вследствие именно внезапного перехода от холода к теплу за горячим стаканом чая насморк у Гоголя так усилился, что Яким должен был достать из чемодана пачку свежих платков.

Хлопотавшая около самовара Амалия Карловна с возрастающим участием поглядывала на нового жильца.

– У меня есть от насморка одно симпатическое средство, – сказала она. – Надо взять бумажку, написать: «Я дарю вам мой насморк» и бросить на улице.

– А кто поднимет, тот и будет с подарком? Пресимпатичное средство! Сейчас испробуем. Карандаш и бумажка у меня найдутся, нет только конверта...

– А конверт я вам дам от себя, – подхватила хозяйка.

– Ну, как есть тетушка! Что я говорил, Александр? Хорошо тому жить, кому тетушка ворожит.

Глава вторая

Первый день новичков в школе жизни

Симпатическое средство почтенной Амалии Карловны на этот раз, однако, не оказало своего целебного действия. Когда Гоголь на следующее утро протер глаза, то многократно расчихался: насморк его был еще в полном расцвете; когда же он взглянул на себя в дорожное складное зеркальце, то даже плюнул:

– Тьфу! И глядеть непристойно.

Тут оказалось, что Данилевский не только уже встал и напился чаю, но и из дому отлучился – закупить в Апраксином рынке мебель и постельные принадлежности.

– А оттуда ведь, злодей, бьюсь об заклад, завернет еще на Невский! Господи, Господи! А я сиднем сиди, – убивался Гоголь. – Смотри-ка, Яким: никак снег идет?

– Идет, – подтвердил Яким, – еще с вечера пошел, как я письмо с насморком относил.

– Так, верно, потеплело! Подай-ка мне новый фрак.

– Да куды вы, паночку? Ще пуще занедужаете.

– Не могу я сидеть в четырех стенах и киснуть, когда знаю, что здесь же, в Петербурге, живет мой лучший друг – Высоцкий, с которым я не виделся целую вечность – два года слишком.

– Так я бы съездил за ним...

– Нет, нет, я хочу застать его врасплох; да, кроме того, мне надо еще к одному важному господину с поклоном.

Напрасно отговарили его и Яким и хозяйка, которая, по-видимому, все еще не теряла надежды, что ее хваленое средство в конце концов оправдает свою славу.

– Не надейтесь, мадам, я уж такой неудачник, – сказал Гоголь, – письмо, верно, снегом замело, и никто его не поднял. А вот кабы у вас нашлась пудра, чтобы мало-мальски облагородить мое нюхало...

Пудры косметической у мадам не нашлось, но назначение ее с успехом исполнила домашняя пудра – картофельная мука, небольшой запасец которой заботливая немка завернула еще ему в бумажку на дорогу.

И сидит он опять в санях и едет к Высоцкому. Извозчик попался ему из жалких «ванек»; малорослая деревенская лошаденка, лохматая и пегая, смахивавшая более на корову, чем на коня, плелась мелкою рысцой.

«Колесница триумфатора! – иронизировал седок над самим собою. – Спасибо, хоть не так уж холодно»...

В самом деле, как это нередко бывает в нашей приморской столице, жестокий мороз сменился разом чуть не оттепелью. Тем не менее Гоголь, не отделавшись еще от вчерашней простуды, ежился в своем стареньком плаще и накрылся на всякий случай еще широким воротником, как капюшоном, чтобы охранить свое «нюхало» от крутившихся кругом снежных хлопьев. Путь впереди лежал довольно долгий – на Петербургскую сторону, в какую-то Гулярную; надо было как-нибудь скоротать время, и, зажмурясь, Гоголь предался мечтаниям о предстоящей встрече с Высоцким.

«Неужто расчувствуемся, обабимся опять оба, как тогда при последнем прощанье, прижмем друг друга к сердцу, или выдержим характер и просто пожмем друг другу руки? А может быть, его и дома-то не будет? Ну, что ж, обожду у него в кабинете, пороюсь в его книгах: что-то он теперь читает? И вот что, – да, да, непременно! – как услышу только его шаги в прихожей, спрячусь поскорей за какой-нибудь шкаф или печку. Войдет он, ничего не подозревая, и вдруг ему сзади зажимают руками глаза: „Кто я? Угадай-ка?“ Сердце ему, разумеется, подскажет. Но

он не покажет виду, а преспокойно, как ни в чем не бывало, обернется и протянет руку: „Как поживаете, дружище?“ – „Помаленьку. А ты как?“ И пойдут расспросы и ответы без конца. „А что, Николай Васильевич, – скажет он тут, – хочешь место в 1200 рублей?“ – „Как! У тебя есть для меня такое место?“ – „Есть. Для начала ведь недурно? Сто рублей в месяц; а там, через год, найдем и лучше“. Вот друг, так друг! Тут, пожалуй, уж не выдержишь, облапишь его, чмокнешь в обе щеки. „Но вот беда-то, Герасим Иванович: ведь надо представиться новому начальству, а у меня нет еще и порядочного, парадного фрака“... Герасим же Иванович, победоносно улыбаясь, идет к шкафу и достает оттуда фрак, великолепнейший, синего цвета с металлическими пуговицами: „Как вам покажется, синьор, сия штука? Специально для вас заказана у Руча – первого столичного портных дел мастера. Суконце тончайшее, английское. Не угодно ли пощупать: персик! А фасон-то: последнее слово науки!“»

– Эй, барин, заснул, что ли? – окликнул возница седока, замечтавшегося под своим капюшоном.

– Разве мы уже в Гулярной?

– В Гулярной. Да чей дом-то?

Гоголь назвал домохозяина. По счастью, мимо них по занесенным снегом деревянным мосткам перебиралась какая-то не то кухарка, не то чиновница с кульком провизии. На вопрос извозчика она указала на один из убогих, одноэтажных домиков столичного захолустья.

Господи Боже! И это прославленный Петербург? Это Нежин, хуже Нежина! Дрянь, совсем дрянь! И здесь-то приютился он, друг сердечный?

Рассчитавшись с извозчиком, Гоголь, увязая в снегу, добрался кое-как до калитки, а оттуда во двор до покосившегося крылечка.

А что, если Герасим Иванович ему даже не обрадуется? На последние письма к нему не было ведь и ответа...

Звонка на крыльце не оказалось, и Гоголь с невольным замиранием постучался в низенькую дверь. Только на третий стук дверь вполтину отворилась. Но показавшийся за нею старичок в ермолке и ветхом ватном шлафроке – из отставных, видно, чиновников, – держась за дверную скобку, заслонил вход и пробрюзжал довольно нерадушно:

– Вам кого?

– Высоцкого, Герасима Ивановича. Ведь он здесь живет?

– Жить-то жил, да след простыл.

– Выехал? Но не из Петербурга же?

– Из Петербурга.

Гоголь был совсем ошеломлен.

– В провинцию, значит! Но куда?

– А почему мы знаем. Снимал хоть у нас комнату, да сторонился нашей бедноты, гордец, зубоскал, не тем будь помянут. Сам, вишь, важная птица! Ну, и скатертью дорога!

Дверь закрылась. Гоголь все еще не мог опомниться.

Да, да! Высоцкий хоть и зубоскал, точно, но одного с ним поля ягода. Они понимали друг друга с полуслова, жить бы только душа в душу... И вдруг, не говоря дурного слова, скрылся с горизонта бесследно, как метеор, не оставив даже ни строчки. Открылось, извольте видеть, где-то в провинции теплое местечко, – не нужны стали прежние друзья, и отряхнул их с себя, как пыль, как сор... Но нет же, нет, не может быть! Неужели так и не придется больше свидеться в жизни?³

Безотраднейшее чувство первого разочарования в незыблемой святости дружбы с нестерпимой горечью поднялось в груди отвергнутого друга. От наверху на глаза сырости ничего не различая перед собою он, спотыкаясь, выбрался снова из калитки. Рассчитанный им

³ Сколько известно, Гоголь действительно до самой смерти не встретился уже с Высоцким.

ванька, по счастью, еще не отъехал: надо было дать передохнуть слабосильной лошаденке, а может, и седок не застанет кого нужно.

– Не застал, знать, дома?

– Не застал...

– Так подавать опять?

– Подавай.

– Куда ж теперя везти-то?

И то, куда теперь? Тот, на которого он полагался как на каменную гору, спину показал; приходится самому уж ковать железо. Рекомендательное письмо Трощинского к чиновному тузу Кутузову благо в капмане.

– Знаешь Малую Миллионную?⁴

– Как не знать.

Снег валил рыхлыми хлопьями гуще прежнего. Накрываясь опять воротником плаща, Гоголь должен был хорошенько отряхнуться.

– Ну, повалил! – пробормотал он про себя.

– Научился, – незлобно отозвался ванька, застегивая полость, и легонько тронул свою лошадку вожжами. – Эй, милая, не ленися: добрый барин не поскупится.

А барин под своим капюшоном сидел истуканом: на него нашло ожесточение до самозабвения, до одеревенелости. Только когда недолго погодя санки разом остановились, он очнулся и приподнял край воротника.

– Что там такое?

– А вон потянулись, – был благодушный ответ с облучка, – ровно дрова по реке гонят – никакой силой не удержишь.

Поперек пути их, в самом деле, тянулся непрерывный обоз, которому конца видать не было. Раз покоровившись неумолимой судьбе, Гоголь безропотно снес и эту мелкую напасть.

– Вперед! – послышался наконец голос возницы, и санки покатались далее.

Вдруг толчок, и еще, и еще, точно спускаются круто под гору. Что за оказия? Какие в Петербурге горы? Гоголь выглянул опять из-под своей покрывки. Оказалось, что то был спуск на Неву. Путь их лежал так близко от проруби, что их обдало оттуда облаком пара.

– Дышит! – заметил опять извозчик, который, полюбив, видно, своего молчаливого седока, находил удовольствие делиться с ним впечатлениями.

Да, у этих северян-великороссов есть тоже своя наблюдательность, свои словечки; да что толку-то, коли твоя собственная комическая жилка иссякла?

Вот они и на Малой Миллионной. Будочник наставил их, где жительствоует «генерал» Кутузов. Вылезая уж из саней перед генеральским подъездом, Гоголь вспомнил, что дорогою неоднократно прибегал к помощи носового платка.

Эх-ма! Надо опять ведь напудриться, чтобы явиться перед сановником в надлежащем виде. Но куда, в какой карман он сунул свой запасец? Экая, право, куриная память... Ага! Вот.

Но пока он шарил по карманам, на подъезде показался уже великолепный толстяк-швейцар, завидевший в стеклянную дверь подкатившие утлые извозчичьи санки.

– Отъезжай, отъезжай! – властно гаркнул он на ваньку, а затем с высокомерным недоумением оглядел молодого седока, который пока набелил себе только одну сторону носа. – Вам кого?

– Мне его превосходительство, Логгина Ивановича, – отвечал Гоголь, с замешательством пряча бумажку с косметикой.

– Не принимают.

– Нет? Почему так?

⁴ В настоящее время просто Миллионная.

- Хворать изволят.
- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! И серьезно прихворнул?
- Очень даже серьезно.

Не находя нужным тратить еще лишние слова, ливрейный страж не спеша вошел обратно в подъезд и звонко хлопнул стеклянного дверью.

– Господин в ливрее! – пробормотал вслед ему Гоголь.

– Какой уж господин – собака! – сочувственно подал голос ванька, отъехавший всего шагов на десять и слышавший весь диалог. – С жиру хозяйского бесится: кто одет поплоче, того облает, а кто почище – перед тем виляет. А теперя, батюшка, что же, обратно на фатеру, я чай, к Кокушкину мосту?

– На фатеру, сыночек, ох, на фатеру...

Временный подъем духа поддерживает и телесные силы, зато с упадком духа тем сильнее реакция. Когда Гоголь вскарабкался к себе на четвертый этаж, то тут же в полном изнеможении повалился на небубранный еще с полу матрац и защелкал зубами от жестокого озноба. Но хозяйка, смотревшая на него уже как на члена своей квартирной семьи, настояла на том, чтобы он совсем улегся, сама накрыла его двумя одеялами и напоила липовым цветом с малиной до второго пота. Яким тем временем напевал паньчу про непомерную петербургскую дороговизну: «За десяток репы плати ни много ни мало – 30 копеек! Картофель покупай тоже десятками, точно апельсины»...

– Добивай меня, добивай! – отвечал из-под своих двух одеял паньч, да таким жалобным тоном, что Яким, не допев, умолк.

Незадолго до обеда были доставлены из Апраксина двора закупленные Данилевским кровати с тюфяками и прочая мебель, а к обеду вернулся и он сам. На него, здорового человека, Петербург произвел совершенно иное впечатление, чем на Гоголя, и он своим восторженным настроением несколько подбодрил опять своего раскисшего друга.

– А затем в кофейне я сделал еще очень ценное для меня знакомство с одним отставным кавалеристом, – продолжал Данилевский. – Он прошел также школу подпрапорщиков и сообщил мне целую массу прелюбопытных сведений. Как видишь, и я иду по твоим стопам – занимаюсь изучением обычаев и нравов!

– Например?

– Например, младший курс – вандалы, старший – корнеты, и корнеты муштруют вандалов, потому что отвечают за них перед начальством.

– В чем отвечают?

– В том, чтобы у тех все пуговицы были застегнуты, все ремешки подтянуты; да ведь как самих их подтягивают, как честят отборными словами!

– А вандалы молчи?

– Вандалы молчи. На то и вандалы.

– Поздравляю; завидная у тебя перспектива!

– Что, брат, поделаешь! Всякого варвара надо сперва отполировать хорошенько, чтобы сделаться «полированным» человеком. Зато я выйду во всяком случае в гвардию.

– Почему же во всяком случае? Прилежанием ты, как и я, никогда особенно не отличался.

– Прилежанием, брат, там никого не удивишь. В «зубрилке» корнеты заставляют вандалов даже надевать перчатки, чтобы не пачкать рук о «вонючие» книги – физику, механику. Первое там условие – верховая езда и телесная ловкость. Ну, а по этой части я хоть с кем потягаюсь. «А есть у вас свой конский завод?» – спросил меня мой новый знакомый. – «Нет, – говорю, – а что?» – «Да чтобы пыли в глаза пустить. На первый-то хоть раз подъезжайте туда на

лихаче, да дайте ему рубль на водку, так, чтобы видел швейцар, от которого потом все другие узнают»⁵.

– Ай да советчик! Подлинно, что ценное знакомство.

Данилевский почесал за ухом, но тотчас беспечно усмехнулся.

– Ценнее, чем ты думаешь, – сказал он. – Сорвал с меня изрядный куш – двадцать целковых!

– Неужто ты, в самом деле, дал незнакомому человеку сразу в долг?

– Нет, он взял их с меня на бильярде.

– Так! Не можешь отстать от этой глупой страсти. Как ты вообще сошелся с этим франтом?

– А в кофейне, говорю тебе, на Невском, против Казанского собора. Зашел я только закусить; но тут вдруг где-то в третьей комнате слышу – бильiardные шары. Как, скажи, было устоять?

– Тебе-то – еще бы! И мышь на запах в мышеловку лезет.

– Вхожу в бильiardную; там играет какой-то усач с маркером, – не то чтобы неважно, а так, спустя рукава. Проиграл партию, обращается ко мне: «Вы, я вижу, тоже любитель; не желаете ли сразиться?» – «С удовольствием». – «А по какой?» – «Да я, извините, по крупной не играю, – говорю ему, – дело ведь не в выигрыше». – «Само собою! Но чтобы был все-таки некоторый интерес. Угодно: копейка очко?» Чего, думаю, скромнее? Больше шести гривен не рискую. «Извольте», – говорю. Стали мы играть. Играл он по-прежнему кое-как, проиграл мне двадцать очков. «Эй, человек! Коньяку. Не прикажете ли?» Я поблагодарил: «Простите, не пью». – «Эх, молодой человек, молодой человек! Ваше здоровье! А теперь не удвоить ли нам куш?» Отказаться было уже неловко; да при его игре какой же и риск? Тут он стал играть иначе.

– Ага! Старательнее?

– Не то чтобы, нет; кий он держал в руках все так же небрежно, будто и не целясь, а между тем, – удивительное дело! – шары у него так и летали по бильiardу, попадали в лузу: хлоп да хлоп! Глядь: закатил мне сухую. Захохотал, потрепал меня по плечу. «Видали вы, как выигрывают фуксами? Однако с выигрыша я, как угодно, должен вас угостить. Одну хоть рюмочку для храбрости, а?» – «Увольте...» – говорю. «Нет, молодой человек, вы меня кровно обидите!» Налил он мне рюмочку, а коньяк оказался высшего качества так и разлился у меня по жилам. Храбрости у меня, точно, прибавилось: когда он мне теперь предложил играть по гривеннику очко, я уже не стал упираться. Тут он развернулся вовсю; таких клапшtosов, триплетов, квадруплетов мне в жизни видать не случилось!

– И вздул тебя напропалую?

– Да, задал мне подряд три комплектных.

– Так тебе, младенцу, и надо. Это, очевидно, профессиональный шулер.

– Может быть, и профессиональный, но профессор в своем деле несомненно; что за комбинации, что за удар, что за чистота отделки! Не жаль, право, и двадцати рублей за урок.

– Благодарю покорно! А платка он у тебя из кармана не вытащил?

– Напротив, он повел себя настоящим джентльменом: после третьей комплектной сам предложил прекратить игру: «Вы нынче не в ударе». Потом любезно надавал еще разных советов насчет юнкерской школы...

– И не менее любезно обещался дать тебе завтра реванш?

– Да...

– Ну, вот. Но ты, конечно, не пойдешь?

⁵ Считаю нужным здесь оговориться, что приведенные выше порядки бывлой юнкерской школы относятся ко временам давно минувшим и отошли, разумеется, уже в область преданий.

– Право, не знаю... Жаль как-то упустить случай поучиться у такого мастера! Ах, да! Из головы вон, – вспомнил вдруг Данилевский и хлопнул себя по лбу. – Ведь привез тебе оттуда гостинец.

– Откуда?

– Да из той же кофейни. Эй, Яким! В шубе у меня ты найдешь кусок кулебяки, снесика на кухню и разогрей для барина.

– Но у меня нет ни малейшего аппетита, – отговорился Гоголь.

– Пустяки! От одного вида явится. Такая, я тебе скажу, аппетитная штука, что пальчики оближешь.

Глава третья

Иван-Царевич на распутье

Четыре месяца спустя мы видим двух друзей опять вместе – на Екатерингофском гулянье. В 1829 году, когда железных дорог еще и в помине не было, и цена заграничных паспортов у нас не была еще понижена, когда число дачных мест в окрестностях самого Петербурга было очень ограничено и воздух в Екатерингофе еще не отравлялся нестерпимым смрадом костеобжигательного и других заводов, – тамошний великолепный парк был одним из излюбленных мест гулянья столичного населения, а 1 мая туда тянулся весь Петербург: кто побогаче – в собственном или наемном экипаже, кто победнее – на своих на двоих. В числе последних были также Гоголь и Данилевский, двигавшиеся вперед шаг за шагом среди густой разряженной толпы по главной аллее. И они были одеты по-праздничному: Гоголь в новом весеннем плаще и новом цилиндре, надвинутом довольно отважно на одно ухо; Данилевский же, еще два месяца назад принятый в школу гвардейских подпрапорщиков, – в новой юнкерской форме, которая шла как нельзя лучше к его стройной, молодцеватой фигуре, к его красивому, цветущему лицу. Замечая, как он привлекает взоры всех встречающихся им особ прекрасного пола, он весело поглядывал по сторонам, одним ухом только слушая, что ему рассказывал в это время приятель про недавно закрывшуюся выставку в Академии художеств.

– Грех, право, что ты туда ни разу не собрался! – говорил Гоголь. – Были ведь там картины и по твоей, брат, батальной части.

– Например?

– Например, одна чудеснейшая, душу возвышающая: партизан в Отечественную войну. Сидит он верхом на лафете орудия, весь в отрепьях, с перевязанным лицом, забрызганным кровью, запаленным от порохового дыма, но в правой руке у него отбитое французское знамя, а поза, я тебе скажу, выражение лица – поразительные! Без слов читаешь: вот они, истинные спасители отечества!

Данилевский окинул тщедушную фигуру приятеля сомнительным взглядом.

– А ты сам, видно, до сих пор тоже не отказался спасти отечество?

В глазах Гоголя вспыхнул вдохновенный, чуть не фанатичный огонь.

– Не отказался, нет! – с самоуверенною гордостью произнес он. – И на меня, сознаюсь, после всех моих неудач находило порою малодушие; но одно меня потом всегда поддерживало, ободряло: молитва и упование на Бога! После горячей молитвы во мне всякий раз укреплялась снова вера в себя, в свое призвание – не прожить бесследно...

– Все это прекрасно и похвально. Но в чем же твое призвание? Остановился ты уже на каком-нибудь занятии окончательно?

– Окончательно?.. – повторил Гоголь, и голос его упал на одну ноту. – Легко, брат, сказать! Ты знаешь ведь сказку про Ивана-царевича: поедешь прямо – будешь голоден и холоден, возьмешь направо – коня потеряешь, налево – сам пропадешь. И вот, стою я теперь этак на распутье: какую дорогу выбрать?

– Прямая дорога всего ближе: кратчайшее расстояние между двумя точками.

– По геометрии – да. Чего, кажется, прямее – путь в юстицию? Защищать угнетенных и невинных, карать злых и неправых – какая высокая цель! И направил я туда стопы, как ты знаешь, с рекомендацией от нашего «кибинцкого царька»; но сперва Кутузов меня по болезни не принял...

– А когда выздоровел, то был, кажется, очень мил, обещал тебя скоро пристроить?

– Из обещаний, голубушка, шубы не сошьешь. В то время не было еще получено известия о смерти Трошинского⁶. А теперь никакого толку не добьешься: ни два ни полтора.

– Но у тебя были ведь, кажется, еще к кому-то письма?

– Быть-то были, да результат все тот же – любезное отвиливание. Таким образом, от твоего прямого пути я испытал, по сказке, буквально только голод да холод: пока маменька не выслала опять денег, я целую неделю сидел без обеда.

– Так от чиновной карьеры ты вообще уже отказался?

– От переписывания с утра до вечера бредней и глупостей господ столоначальников? Помилуй Бог! Да что я – чурбан или живой человек?

– Что же у тебя еще на примете?

– Очень многое: я умею шить, варить, расписывать стены альфреско...

– Ну, Ивану-царевичу заниматься портняжным, поварским или малярным делом, пожалуйста, и не совсем пристало. Я спрашиваю тебя, брат, серьезно: что ты, наконец, думаешь предпринять?

– Пока я, говорю серьезно, еще ни на чем не остановился. От нечего делать хожу, как ты знаешь, в Академию художеств и копирую там с знаменитых мастеров. Кстати сказать: господа художники, с которыми я свел там знакомство, премилые все ребята! Но такими копиями не прокормишься. Пробовал было взяться за иконопись: не это ли мое настоящее призвание? Да нет! Слишком мало во мне еще этой строгости, этой святости, слишком много мирской суеты. Но однажды – я дал себе в том уже обет – непременно соберусь к святым местам, ко гробу Господню...

– Ну, ну, ну! Опять заханжил.

– Нет, Александр, это у меня не ханжество, а совершенно искренняя религиозность, так сказать, с материнским молоком.

– Против религиозности я и сам, конечно, ничего не имею. Но когда человек только вступил в жизнь, – помышлять уже о паломничестве, как хочешь, не дело.

– Согласен. Времени впереди довольно. И я изыскиваю всякие средства, чтобы хоть что-нибудь заработать и не быть в тягость родным. Теперь здесь в Петербурге мода на все малороссийское. Мне пришлось в голову поставить на сцене одну из папенькиных малороссийских комедий, и я нарочно пишу теперь маменьке, чтобы выслала мне их сюда. Потом я чуть было ведь не укатил в чужие края в качестве компаньона одного больного.

– Вот как! Но ты мне ничего еще не говорил об этом?

– Не говорил, чтобы не сглазить. Да враг рода человеческого, как не раз уже, подшутил опять надо мною, помазал по губам!

– А из-за чего же у вас дело расстроилось?

– Из-за того, что больной мой не выждал, взял да и отправился без меня в места еще более отдаленные – в елисейские. Царство небесное! Мило... Но на руках у меня остается еще один, самый крупный козырь. Я хотел бы знать твое чистосердечное мнение, как друга: козырнуть ли мне уже или нет?

Данилевскому, однако, так и не было суждено познакомиться с загадочным козырем своего друга. Из боковой аллеи навстречу ему показались двое таких же хватов-юнкеров.

– А, Данилевский! Мы идем слушать цыган. А ты?

– И я, понятно, с вами. Но сперва позвольте, господа, представить вам моего друга детства.

Те снисходительно пожали руку невзрачному «другу детства».

– А мы сюда ведь водой на катере, – рассказывал Данилевскому один из товарищей-юнкеров, – на Неве сплошной ладожский лед, и мы пробивались между льдинами, как теперь вот

⁶ Бывший министр юстиции Трошинский, «кибинцкий царек», скончался в феврале 1829 года.

между народом. Да что же мы, господа, толчемся на одном месте? Вперед! Справа по одному ры-ы-ы-сю-ю-ю!

– Корпус прямо! Голову выше! Ногу в каблук! – со смехом скомандовал в свою очередь второй юнкер.

– Не оттягивать дистанции-и-и! – подхватил в тон им Данилевский. – Раз-два! раз-два! раз-два!

И три бравых молодых воина с неуправляемым натиском врезывались в разношерстную толпу, которая невольно перед ними расступалась и затем снова смыкалась, понемногу оттирая от них четвертого, более скромного путника.

Нагнал их Гоголь уже на большой открытой лужайке, где народное гулянье было в полном разгаре. Оркестр военных трубачей, карусели, Петрушки, медведи с козой-барabanщиком, ходячие панорамы, палатки с сладостями, громадные самовары и исполинские пивные бочки собрали тут тысячи алчущих «хлеба и зрелищ». В окружности же, под оголенными еще деревьями, на болотистой почве, сквозь которую кое-где лишь пробивалась первая травка, расположились живописные группы неприветливых горожан и угощались взятою из города снедью и выпивкой. От общего говора, крика и смеха, от разных музыкальных инструментов – барабанов и труб, шарманок и гармоник – в воздухе стоял невообразимый хаос звуков; но этот одуряющий гам и гул, казалось, никого не беспокоил, а, напротив, возбуждал во всех еще большее веселье. Для трех подпрапорщиков, впрочем, все это представляло мало интереса. На минутку только приковало их внимание семейство атлетов, которые, одетые в трико, рельефно выказывавшее их развитую мускульную систему, очень ловко и красиво выделяли всевозможные головоломные штуки, а в заключение составили живую пирамиду.

– Bravo, bravissimo! – одобрили в один голос наши юнкера.

Но когда тут окружающая толпа эхом завопила то же, один из них бросил к ногам акробатов серебряный рубль, и все трое двинулись далее.

– Завтра, братцы, в зубрилке сделаем то же самое, – заметил Данилевский.

– Само собою. Но слышите, какие ноты выводит мошенник? Воль-ты-ы-ы, ма-арш!

Навстречу им из открытых окон ресторана долетали звуки несколько хоть разбитого, но сильного еще и приятного тенора. На крыльце их принял с низким поклоном половой. Помахивая салфеткой, он проводил их в ресторан, но на пороге через плечо обернулся к оставшему от них Гоголю:

– Пожалуйста, господин, и для вас найдется место. Тот, однако, остановился под окошком, в которое можно было вполне обозреть главное помещение ресторана. На деревянной эстраде стояло полукругом до десяти смуглолицых, чернобровых цыганок в ярких цветных нарядах, с картинно-прицепленными к одному плечу расшитыми золотом шальями, в серьгах с подвесками и монистах из мелких золотых монет.

Но покамест они еще бездействовали и служили только живописною гирляндой самому своему набольшему – такому же черномазому цыгану, пожилому и на славу откормленному, еще очень видному, в нарядном белом кафтане с золотыми позументами. Пел он один, сопровождая свое пение притоптыванием то одной, то другой ногой, легким, но выразительным и преизящным подергиванием плеч и локтей, и этот, так сказать, аккомпанемент телодвижений необычайно эффектно иллюстрировал задушевно-игривый напев.

Но что это он запел теперь? Никак ту самую полумалороссийскую-полуцыганскую песню, которую так чудесно распевала когда-то в Васильевке тетушка Катерина Ивановна и которую все, начиная от маменьки и кончая последней дворовой девчонкой, так охотно слушали? Да, да!

Ой у поли долина,
А в долини калина, —

залился певец; а подначальный женский хор звучно подхватил:

– Бойденром, янтером,
Духрейдом, духтером!

Они спелись, бесподобно спелись, надо честь отдать. Но что же это такое? Одна из цыганок внезапно вырвалась из полукруга и, плавно взмахивая руками, поплыла вокруг цыгана; за нею другая, за другою третья... Вот и все десять, подпевая, кружатся вокруг своего повелителя все быстрее и неистовее, с какими-то дикими взвизгиваниями и завываниями... Тьфу, безбожницы!

Гоголь отошел от окошка: та песня, которая в памяти его хранилась до сих пор неприкосновенно в числе других дорогих воспоминаний о милой Украине, была опошлена, осквернена.

Не будь только Данилевского... Да ведь он с своими новыми друзьями вернется в город водою на катере. Благодарю покорно! Хоть и не потонешь, так схватишь наверняка капитальный насморк.

А «старший козырь», которым Данилевский заинтересовался было? До козыря ли ему теперь! Вон он вместе с другими рукоплещет фараоновым дочерям, голосит тоже как сумасшедший: «Бис! бис!»

Прочь, прочь из этого омута!

И нелюдим наш опять у себя дома, на четвертом этаже – не в доме Трута у Кокушкина моста (откуда он съехал после того, как Данилевский переселился в юнкерскую школу), а неподалеку оттуда по Столярному переулку близ Большой Мещанской (теперь Казанская), в доме каретника Иохима⁷. Заботливый Яким заварил уже для паныча чай, и, прихлебывая из стакана, Гоголь погрузился опять в размышления: козырнуть или нет?

Тут взор его скользнул в сторону письменного стола и слегка омрачился. На краю стола лежала старая подковка, которую он недавно поднял на мостовой «на счастье», а под подковою – начатое накануне письмо.

Эх! Первым делом надо дописать, поблагодарить маменьку за присланные деньги, а там уже мечтать о том, что и ей, и Данилевскому еще тайна.

Допив залпом стакан, он пересел к письменному столу и перечел написанное. После жалоб на столичную дороговизну следовал легкий намек на козырь:

«Как в таком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире? Вот я и решил...»

На этом письмо прерывалось. А ну, как план не осуществится? Маменька же, при ее неудержимой фантазии, вообразит, что все уже сделано, и на радостях поделится своею новостью со всем околотком. Нет! Лучше до времени промолчать.

Обмакнув перо, он приписал:

«Но как много еще и от меня закрыто тайною и я с нетерпением желаю вздернуть таинственный покров, то в следующем письме извещу вас о удачах или не удачах. Теперь же расскажу вам слова два о Петербурге».

Перо, не запинаясь, побежало по бумаге. Из двух слов выросли десятки, из десятков сотни. Рассказав о Петербурге, нельзя было, понятно, обойти и майское гулянье в Екатерингофе.

⁷ В этом доме Гоголь прожил слишком два года. Фамилия и профессия домохозяйина остались ему настолько памяты, что впоследствии в своем «Ревизоре» он заставил своего Хлестакова сожалеть, что «Иохим не дал напрокат кареты; а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете; подкатишь таким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо с фонарями» и т. д.

«Все удовольствие состоит в том, – писал он, – что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными длинными гайдуками. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и все это для того, чтобы объехать кругом Екатеринбург и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет...»

Теперь не поведать ли еще о народных потехах, о трех подпрапорщиках и цыганах? Боже упаси! Маменька от беспокойства целые ночи спать не будет. Лучше на этом и закончить.

«Я было направил смиренные стопы свои, но, обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты, возвратился вспять».

– Возвратился вспять... – повторил он про себя вслух с глубоким вздохом и отложил в сторону перо.

Нет, писать решительно невозможно, когда этак в мозгу, рядом с тем, что надо писать, жужжит целый рой мыслей о чем-то другом, во сто раз более важном, – о вопросе, так сказать, жизни и смерти!

Рука его машинально потянулась за книжкой, лежавшей тут же на столе. То был номер журнала «Сын Отечества и Северный архив», именно N12, вышедший, как значилось на обложке, 23 марта. Книжка раскрылась сама собой на требуемой странице: видно, не раз уже была читана и перечитана. Что же стояло там? Да для обыкновенного читателя ничего особенного: стихи как стихи, октавы, озаглавленные «Италия»:

Италия – роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует...

Но Гоголь, принявшись читать, не мог уже оторваться и дочел до последнего куплета:

Земля любви и море чаровании!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твое дыханье,
Я в небесах весь звук и трепетанье!..

Кто же был автор этих вдохновенных стихов? Подписи внизу не значилось. Но достаточно было взглянуть теперь на молодого чтеца, который, пробегая те же строки чуть не в сотый раз, был «весь звук и трепетанье», чтобы угадать автора.

И никто ведь в целом мире до сей минуты не подозревает, что он – автор! Даже редактор его в глаза не видел. О! Он устроил это чрезвычайно тонко, политично: отослал стихи без подписи по городской почте; но в письме к редактору выставил небывалую фамилию «Алов», показал вымышленный адрес у черта на куличках – за Нарвскою заставой: не угодно ли справиться на месте! Да чего справляться о стихах невиннейшего свойства? И вот они напечатаны даже без поправок.

А номер журнала он приобрел в собственность не менее практично: подписался на один месяц в библиотеке для чтения, причем вместе с платою внес и два рубля залога.

– А буде, не дай Бог, потеряется у меня ваша книга?

– Тогда вы ответите залогом.

– И только?

- Только.
- Претензий никаких?
- Никаких.
- Примем к сведению.

Так книга на законном основании была потеряна для библиотеки и ее читателей, а для него пропал залог: полюбовно рассчитались.

Но то был лишь первый пробный опыт, мелкий козырек – стихотвореньице в пять куплетов; теперь же предстояло пустить в ход старший козырь – целую поэму в 18-ти картинах и с эпилогом – работу двух лет! Как тут быть? Псевдоним перед редакцией уже не отвертишься. А там, того гляди, еще и не примут: «Простите, но вещь для нас неподходящая». – «Разве так уж слаба?» – «О нет, в своем роде даже очень недурна; но нам нужны имена, имена! Вот когда ваше имя станет более известным. . .» – «Но как же ему стать известным, коли вы отказываетесь печатать?» – «Попытайтесь в другом журнале: мы завалены рукописями наших постоянных сотрудников; ваша поэма для нас слишком, знаете, грузна. Не взыщите». Вот тут и поди! Держали рукопись у себя целую вечность, измяли, запачкали; а теперь – «не взыщите!» Сунешься в другую редакцию – там уж по захватанному виду тетради смекнут, что она раньше побывала в других руках, из приличия возьмут, пожалуй, для просмотра, но хорошенько и читать не станут: «Получите, не взыщите!» Обегаясь этак все редакции, и в конце концов все-таки поневоле сам издашь; а в журналах какой-нибудь злюка-рецензент еще пустить шпильку: читали, дескать, уж в рукописи, да забраковали. И ведь правда; возражать даже не приходится.

Гоголь вскочил со стула и, заложив руки за спину, зашагал из угла в угол.

Разве отнести к Смирдину? Он издает ведь поэмы Пушкина. . . Но потому-то как раз и не возьмется издать: «Будете Пушкиным – милости просим; а теперь не взыщите».

Нет! Чем бегать, кланяться какому-то толстосуму, который в стихах смыслит ровно столько же, как некое животное в апельсинах, лучше уж издать на свой страх. Талант так ли, сяк ли возьмет свое. Разослать по экземпляру всем корифеям: судите, рядите, господа! На досуге прочтут, расскажут другим собратьям, что вот, мол, «новый талант проявился: читали? Прочтите». Глянь, кто-нибудь в газете, в журнале и откликнулся добрым словом – и дело в шляпе: публика требует уже расхваленную книгу, книга пошла в ход! О, талант возьмет свое!

Давно уже ночь; давно молодой поэт лежит в постели и потушил свечу. Но ему не спится: мысли его, как стая легкрылых птичек, порхают по редакциям, по типографиям, по книжным магазинам. . .

Была не была! Издавать так издавать, для осторожности хоть под псевдонимом. Что еще, в самом деле, медлить? Рукопись переписана; снести в типографию, условиться. . . Вот разве что предпослать маленькое предисловие, чтобы наперед несколько склонить в свою пользу читателя?

Гоголь зажег опять свечу, накинул халат, въехал в туфли и расположился у письменного стола сочинять предисловие. Задача тоже! Сколько извел он тут четвертушек бумаги! Но наконец-то предисловие было готово и могло быть перебелено на обороте заглавной страницы. Было оно очень недлинно:

«Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только автора, не побудили его к тому. Это – произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Дописав, Гоголь еще раз перечел написанное и тонко усмехнулся. Кому в голову придет, что сам автор гордится так «созданием» своего «юного таланта»! Гадай, «просвещенная публика», разгадывай, кто сей юный талант! Ах, скорее бы утро!

Глава четвертая

Козырнул

Поутру Яким, заглянув в обычное время в комнату барина, был немало удивлен, что тот еще спит. Кажись, напился чаю, лег вовремя, а вишь ты!..

Когда он, спустя час, снова просунул туда голову, то застал Гоголя уже вставшим, но молящимся в углу перед образом с неугасимой лампадой. Доброе дело! Как-никак, а маменька-то благочестию с малых лет приучила.

Яким осторожно притворил опять дверь; но когда он, несколько погодя, растворил ее в третий раз, в полной уже уверенности, что теперь-то, конечно, не помешает, то, к большому еще изумлению своему, увидел барина все там же на коленях кладущим земные поклоны. Э-э! Что-то неспроста!

А тут, когда, наконец, барин крикнул его, чтобы подал самовар, то так заторопил, что на-поди, точно на пожар:

– Живо, живо, друже милый! Поворачивайся! Экой тюлень, право!

– Да что у вас на уме, панычу? – не утерпел спросить Яким, подавая барину плащ. – Молились сегодня что-то дуже усердно. Мабуть, затеваете що важное? Занюхали ковбасу в борщи?

– Занюхал, – был ответ. – Хочу козырнуть.

– Козырнуть?

– Да, и от этого козыря для меня все зависит: либо пан, либо пропал! Молись, брат, и ты за меня.

С разинутым ртом глядел Яким вслед: «От вырвався, як заяц с конопель!» – стоял сам еще как пригвожденный на том же месте, когда паныч его сидел уже на дрожках-«гитаре» и погонял возницу, чтобы ехал скорее. Об адресе лучшего типографа Плюшара Гоголь узнал еще месяц назад. Коли печататься, то, понятно, в первоклассной типографии: товар лицом!

Самого Плюшара не оказалось дома: принял Гоголя фактор.

– «Ганц Кюхельгартен. Идиллия в картинах. Сочинение В. Алова. Писано в 1827 году», – вполголоса прочел он на заглавной странице поданной ему тетрадки, перевернул страницу, заглянул и в конец. – Да ведь рукопись ваша не была еще в цензуре?

– Нет.

– А без цензорской пометки, простите, мы не вправе приступить к печатанию.

– Цензор-то наверняка пропустит: содержание ничуть не вольнодумное.

– Почем знать, что усмотрит цензор: вон Красовский – так тот «вольный дух» даже из поваренной книги изгнал! Впрочем, условиться можно и до цензуры. Каким шрифтом будете печатать?

– А право, еще не знаю... Мне нравится самый мелкий шрифт...

– А я советовал бы вам взять шрифт покрупнее да формат поменьше: иначе книжечка ваша выйдет чересчур уж жидковата.

Перед молодым писателем развернулся огромный фолиант с образцами всевозможных шрифтов. У него и глаза разбежались. Как тут, ей-Богу, выбрать? После долгих колебаний выбор его остановился все-таки на излюбленном его шрифте – самом бисерном петите, формат же он принял предложенный фактором – в двенадцатую долю листа.

– Останетесь довольны, – уверил фактор. – Покупатель только взглянет – не утерпит: «Экая ведь прелесть! Надо уж взять». И будет разбираться экземпляр за экземпляром, как свежие калачи, нарасхват. Не успеете оглянуться, как все уже разобраны, приступайте к новому

изданию. А вы, господин Алов, сколько располагаете на первый раз печатать: целый завод или ползавода?

Гоголь был как в чадy. С ним трактовали самым деловым образом, как с заправским писателем, предрекали уже второе издание... Только что такое «завод»? Черт его знает!

– Все будет зависеть от того, во что обойдется издание, – уклонился он от прямого ответа. – Не можете ли вы сделать мне приблизительный расчет?

– Извольте. Бумага ваша или от нас?

– Положим, что от вас.

– В какую цену?

– Да так, видите ли, чтобы была не чересчур дорога и чтобы все-таки вид был.

– И такая найдется; хоть и не веленевая, а вроде как бы.

Карандаш фактора быстро вывел ряд цифр.

– Рублей этак в триста вам станет, если пустить ползавода в шестьсот экземпляров. Но я на вашем месте печатал бы полный завод. Весь расчет в бумаге.

– А уступки не будет? Фактор пожал плечами:

– У нас прификс!

– Но я печатаю в первый раз, и средства мои...

– Переговорите в самом господином Плюшаром; но и он вряд ли вам что уступит. Наша фирма не роняет своих цен. Однако ж печатать-то мы можем во всяком случае не ранее разрешения цензуры. Угодно, мы отошлем рукопись от себя; но тогда она, чего доброго, залежится до осени.

– До осени!

– Да-с, время ведь летнее; цензоры тоже по дачам...

– Так что же, Боже мой, делать?

– А сами попытайтесь снести к цензору на квартиру. Оно хоть и не в порядке, но цензор Срединович, например, авось, не откажется прочесть вне очереди до переезда на дачу.

– Срединович? – переспросил Гоголь. – Но мне, кажется, говорили, что это старый ворчун...

– Ворчун-то ворчун, но вы не очень пугайтесь: не всякая собака кусает, которая дает.

Предупреждение фактора было не лишне. Один внешний вид цензора, который сам открыл дверь Гоголю, мог хоть кого запугать.

«Ай да голова! – сказал себе Гоголь, увидев перед собою голову с ввалившимися глазами и щеками и всю опутанную не столько густым, сколько запущенным бором волос. – Точно ведь дворовые ребята играли ею в мяч, пока не забросили на чердак, и пролежала она там в самом дальнем углу Бог весть сколько лет и зим в пыли, с разным старым хламом, и крысы ее кругом обглодали...»

– Ну-с? – сухо спросил владелец этой головы, окидывая молодого посетителя исподлобья враждебно-подозрительным взглядом и не пропуская его далее прихожей.

– Я имею честь говорить с господином цензором Срединовичем?

– Имеете честь! Верно, опять с рукописью?

– Да, но с самую маленькую...

– С маленькую или большую – не в этом дело. Извольте обратиться по принадлежности в цензурный комитет.

– Но в типографии меня обнадежили, что вы будете столь милостивы...

– В типографии! В какой типографии? Уж не Плюшара ли?

– Именно Плюшара.

– Так я и знал! Вечно та же история! Они меня изведут... Надо положить этому предел!

– Но мне, господин цензор, уверяю вас, ужасно к спеху, и потому только я осмелился...

– Всем господам авторам одинаково к спеху!

– Но иному, согласитесь, все же может быть быстрее? Ваше превосходительство! У вас, верно, есть тоже матушка?

Цензор с недоумением уставился на вопрошающего.

– Что-о-о?

– Матушка у вас ведь есть?

– Странный вопрос! У кого же ее нет?

– Но жива еще, надеюсь? Живет даже, может быть, с вами?

– Хоть бы и так; однако...

– Дай Бог ей долгого веку! Вы ее, конечно, любите, почитаете тоже, как подобает примерному сыну?

– Но, милостивый государь! – нетерпеливо перебил цензор. – Я решительно не понимаю...

– Сейчас поймете, ваше превосходительство, сию минуту! Поймете святые чувства, одушевляющие такого же сына. У меня тоже есть мать, отца – увы – я лишился еще четыре года назад, и я у нее одна надежда и опора. До сих пор, до окончания мною учебного курса, она имела от меня одни заботы; теперь я оперился и хотел бы представить ей в том наглядное доказательство, хотел бы показать, что могу обратить на себя внимание тысячи образованных людей, подобно... не говорю Пушкину, а все же...

Мрачные черты цензора осветились, как мимолетным лучом, снисходительной усмешкой.

– Лавры Мильтиада не дают спать Фемистоклу! – проговорил он. – Вы еще нигде не печатались?

– Как же: в журналах... но пока без подписи.

– Зачем же без подписи? Одни искусственные цветы дождя боятся. Верно, стихи?

– Да. И это вот у меня тоже стихотворная поэма.

– Так, так. Нет, кажется, на свете грамотного юноши, который не садился бы раз на Пегаса. Но из сотни этаких всадников один разве усидит в седле. Впрочем, если журналы действительно не отказывались вас печатать, то кое-какие задатки у вас, пожалуй, есть. Так и быть, сделаю для вас исключение. Рукопись с вами?

Гоголь подал рукопись и рассыпался в благодарностях.

– Хорошо, хорошо. А адрес ваш здесь показан?

– Да... то есть на обороте вот показано, у кого обо мне можно навести справку.

Цензор прочел написанное на обороте: «Об авторе справиться у Николая Васильевича Гоголя, по Столярному переулку, близ Большой Мещанской, в доме Иохима».

– Но нам нужен ваш собственный адрес. Вас зовут, я вижу, Аловым?

Гоголь покраснел и замялся.

– Н-нет... это псевдоним.

– Что ж, свое имя вам слишком дорого для этих стихов, или стихи эти слишком хороши для вашего имени? Я надеюсь, что вы не скрываетесь от полиции?

Гоголь принужденно рассмеялся.

– О нет! Я готов назваться вам, если без того нельзя, но только вам одним. Меня зовут... Гоголем.

– Николаем Васильевичем?

– Николаем Васильевичем. Цензор опять улыбнулся.

– У вас же, значит, о вас и справиться? Улыбнулся и Гоголь.

– У меня: чего уж вернее? Так когда разрешите зайти?

– Зайдите в конце той недели.

– Ой, как долго! Ведь тетрабочка совсем, посмотрите, тоненькая, да еще стихами... нельзя ли завтра или хоть послезавтра?

– Так скоро не обещаюсь...

– Ну, так дня через три? Будьте великодушны! Вам даже прямой расчет: скорее развяжетесь с надоедливим человеком.

– Хорошо; но вперед говорю: не отвечаю.

– И за то несказанно благодарен! Но у меня к вашему превосходительству еще одна просьбица, маленькая, малюсенькая, ничуть для вас не обременительная.

– Что еще там? – с прежнею резкостью проворчал цензор, снова нахмурясь.

– Будьте добры передать вашей досточтимой матушке заочный поклон от неизвестного ей юноши, который имеет вдали, в глухой провинции, столь же любимую матушку, денно и ночью воссылающую также молитвы к Всевышнему о здоровье своего первенца.

Цензор зорко заглянул в глаза молодого провинциала: что он, издевается, что ли? Но выражение лица юноши было так простосердечно, что складки на лбу цензора сгладились, и он протянул наивному провинциалу руку.

– Передам, извольте. Вы, верно, малоросс?

– Малоросс.

– По всему видно. Сюжет у вас тоже из малороссийского быта?

– Нет, из немецкого.

– Что такое? Вы, может быть, побывали уже в Германии?

– Нет еще, но собирался...

– И изучили немцев по книгам? Этого мало, слишком мало. Удивляюсь я вам, право! Когда у вас под рукой такой богатый, нетронутый источник, как Малороссия с ее своеобразными обычаями, поверьями; только бы черпать... Впрочем, навязывать автору сюжеты не следует; пишите о том, что вам Бог на душу положит. До свиданья.

Что значит иной раз случайно брошенная, но плодотворная мысль! На доброй почве она, как семя, может взойти пышным колосом, а там, год-другой, глядь, засеется от него и целая нива. Брошенная цензором мысль пала на такую добрую почву.

«И в самом деле ведь, – рассуждал про себя по пути домой Гоголь, – чем немцы взяли перед хохлами? Клецками, что ли, и пивом? А где у них наши бесподобные „вареньки-побидененьки“, где малороссийское сало, которое во рту так и тает, что помадная конфетка, но в котором они, дурни, даже вкуса не смыслят? А наливки вишневые, черносмородинные, сливовые, персиковые и черт знает еще какие? А парубки и дивчины с их звонкими песнями и раскатистым смехом, с их играми и колядками? А казацкая старина и всякая народная чертовщина? А степь раздольная, неоглядная, украинская лунная ночь, дивно-серебристая, теплая и мягкая, сказочно-волшебная?..»

Спавшие где-то в глубине памяти юноши чувства, свежие впечатления детства внезапно проснулись, оживились, и в тот же день неотосланное еще письмо к матери дополнилось следующими строками:

«Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажете сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как все это называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменявшихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девуку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилы: я думаю,

Анна Матвеевна или Агафья Матвеевна⁸ много знают кое-чего из давних лет. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут? прозвание не помню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, по-видимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале и о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами... Все это будет для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: „Овца-собака“ и „Роман и Параска“...

Просить ли также о деньгах на печатание «Ганца»? Всего два дня назад ведь пришел от нее денежный пакет, да с жалобой, что едва-едва собрала столько. Нет, зачем огорчать ее, бедную, преждевременно, без крайней нужды? Обождем до последней минуты; ну, а там, если не будет уже другого исхода... Посмотрим сперва, что скажет цензор.

Цензор разрешил зайти за рукописью через три дня: ровно через три дня в тот же час Гоголь был опять у его двери. Отворила ему на этот раз горничная.

– Вам барина? Они на службе в комитете.

– Но не оставил ли он для меня рукописи?

– А ваша фамилия? Гоголь назвался.

– Кажись, есть что-то. Сейчас вызову старую барыню.

Барыня оказалась не только старою, но археологическою древностью. Шаркая по полу нога за ногу, она с видимым усилием приплелась до прихожей; дряхлая голова ее в чепце фасона времен Директории колыхалась на плечах, – того гляди, отвалится; но, благодаря чепцу, ее скомканный до безличия облик все-таки не пугал, подобно «чердачному» облику ее сына. Когда же на вопрос ее, не от него ли, Гоголя, был передан ей сыном наемный поклон он дал утвердительный ответ, поблекшие до цвета пергамента черты старушки озарились даже как будто розовым отблеском.

«Руина при закате солнца», – сказал себе Гоголь и спросил вслух, не для него ли сверток, который был у нее в руках?

– Для вас, голубчик мой, для вас, – прошамкала беззубым ртом старушка. – Господь благослови вас!

Странно, но это вполне, очевидно, чистосердечное благословение отходящего из мира существа тронуло Гоголя, и он как-то невольно, безотчетно приложился губами к сморщенной ручке, подававшей ему сверток.

– А не велел ли сын ваш передать мне что-нибудь на словах?

– Велел, родимый: чтобы вы взяли хорошего корректора. Непременно возьмите! Не всякому же далась грамота.

Кровь поднялась в щеки Гоголя.

– И больше ничего?

– Говорил-то он еще... Да нет, зачем, зачем! Ступайте с Богом!

– Нет, сударыня, теперь я убедительно прошу вас сказать все.

– Ох, ох! Коли вы сами того желаете... Он находит, что лучше бы вам вовсе не писать стихов, а коли все ж таки не можете устоять, то и впредь не подписывали бы под ними своего настоящего имени... Нет, не сердитесь, миленький, не сердитесь на него! – всполошилась добрая старушка, увидев, как все лицо молодого стихотворца перекошило. – Может, он на этот раз и ошибается. Уповайте на милосердие Божие...

Она продолжала еще что-то, но Гоголь без слов откланялся и был уже на лестнице.

И дернуло же умного человека давать дурацкие советы! Ну что смыслит он в поэзии, этакий книжный крот?

⁸ Родные тетки М. И. Гоголь.

Печной горшок ему дороже:
Он пищу в нем себе варит.

Вот будет напечатано, так посмотрим, что скажут истинные ценители! А теперь к Плюшару.

На этот раз Плюшар оказался на месте. Чернявый, вертлявый француз принял Гоголя как старинного заказчика. Однако на требование что-нибудь сбавить он отвечал вежливым, но решительным отказом.

– Monsieur напрасно жалеет своих денег, – убедительно говорил он, без запинки мешая русскую речь с французского. – Во всем Петербурге, а стало быть, и во всей России никто вам так не напечатает. А хорошо отпечатанная книга – что хорошо поданное блюдо: благодаря уже своей вкусной сервировке возбудит хоть у кого аппетит.

– А как насчет уплаты? Я ожидаю еще денег из деревни...

– О! На этот счет monsieur может не беспокоиться. Печатание и брошюровка возьмут все-таки месяц времени: тогда и рассчитаемся. А корректуру держать будет сам monsieur?

– Корректуру?.. – повторил Гоголь и невольно поморщился: ему припомнился совет «книжного крота». – Корректор у вас ведь, вероятно, надежный?

– Чего лучше: студент-словесник.

– В таком случае присылайте мне одну только последнюю корректуру – так, знаете, для очистки совести.

– Как прикажет monsieur. Значит, рукопись можно сдать и в набор?

– Да, попрошу вас.

Так рукопись стала набираться, и только третья корректура каждого листа присылалась автору «для очистки совести». Но так же совесть не давала ему еще писать матери о высылке необходимых для расплаты с типографией трехсот рублей. Наконец, однако, скрепя сердце пришлось взяться за перо.

«Я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более. Дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь; тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь 300 рублей».

Сознавая он в самом деле, как огорчат его мать эти строки, каких хлопот и лишений будет стоить ей добыть для него требуемую сумму, – как знать, не отказался ли бы он от самого издания книжки? Но узнал он о том только из ее ответного письма, к которому были уже приложены просимые триста рублей. Ужели же тотчас отослать их обратно? Книжка ведь уже отпечатана: рассчитаться с мосье Плюшаром, так ли, сяк ли, надо. Но скоро, скоро маменька будет утешена, вознаграждена за все сторицей...

И он рассчитался с Плюшаром до копейки, поручив ему развезти книжки по книжным магазинам; несколько экземпляров только он взял домой для рассылки от себя по редакциям журналов и самым известным литераторам, адреса которых он узнал в магазине Смирдина. К немалой его досаде, Пушкин был в отлучке в действующей армии на Кавказе. Благо хоть Жуковский и Плетнев, эти два покровителя начинающих талантов, были еще в Петербурге.

– А пани, чи то барыне в Васильевку, сколько штук мы отправим? – спросил Яким, помогавший барину при упаковке.

– Пока ни одной.

– Как ни одной!

– Есть, знаешь, поговорка: «сиди под кустом, позакрывшись листом», и другая: «жди у моря погодки».

– Да чего ждать-то?

– Погодки.

Яким головой покачал: чудит, ей-Богу, барин! Но вскоре барин с своей книжкой так зачудил, что окончательно сбил его с толку.

Глава пятая

Аутодафе

Три недели ждал он у моря погодки – ни дуновенья! В газетах и журналах ни единого звука: аппетитная, как воздушное пирожное, книжка заманчиво красуется на выставках книжных магазинов, а дура-публика проходит себе мимо, глазами только хлопает! В который раз уж вот прогулялся он к Казанскому мосту справиться у Оленина – и все тот же безотрадный ответ:

– Ни одного экземпляра.

И побрел он далее до Полицейского моста, а здесь машинально завернул по берегу Мойки и остановился не ранее, как перед магазином Смиридина, у Синего моста. Зайти или нет? Но приказчик заметил уже его в открытую дверь; нельзя было не войти.

– Что нового? Приказчик повел плечами:

– Вы насчет вашей книжки? Намедни ведь я вам докладывал, что летнее время – самое глухое, покупателей и на Пушкина не найдется, не токмо...

– Да я вовсе не о том! Вообще нет ли чего новенького в литературе?

– А вот обратитесь к Петру Александровичу: первый источник.

Приказчик кивнул головой в сторону хозяйской конторки в глубине магазина. На своем обычном месте за конторкой восседал на высоком табурете сам Смирдин; перед ним же стоял высокого роста, широкоплечий и плотный господин, насколько можно было рассмотреть издали в профиль его черты лица, – средних лет.

– Кто это? – вполголоса переспросил Гоголь и весь встрепенулся. – Не Плетнев ли?

– А то кто же? Вы его разве еще не знаете? Петра Александровича все литераторы в Петербурге знают, да и он-то всех и все знает...

Гоголь вдоль прилавка с разложенными книгами стал помаленьку подбираться к конторке, по пути перелистывая то ту, то другую книгу. Приблизившись на десять шагов, он как бы погрузился в содержание одной книги; но ухо ловило каждое слово беседующих.

– Да, волка как ни корми, а он все в лес глядит, – говорил Смирдин. – Дивлюсь я, право, нашим москвичам: на прощанье ему поднесли еще золотой кубок с своими именами!

– Великому таланту нельзя не отдать чести, будь он свой русский или враждебной нам национальности, – отвечал Плетнев, отвечал таким тихим, мягким голосом, какого никак нельзя было подозревать в этом могучем теле. – Впрочем, нашего Александра Сергеевича Мицкевич, кажется, искренне любит – кто его не любит! – и ставит как поэта чуть не выше себя самого. Вы слышали ведь, как они столкнулись раз на узком тротуаре?

– Нет, не помню что-то.

– Пушкин почтительно снял шляпу и посторонился: «С дороги двойка: туз идет!» Мицкевич же в ответ ему: «Козырная двойка туза бьет».

– Славный ответ! – рассмеялся Смирдин; тихо засмеялся за ним и Плетнев.

«Погодите, други мои! – сказал про себя Гоголь. – Придет время, – и про некоего третьего станете этак анекдоты пересказывать».

– А где в настоящее время Пушкин? – спросил Смирдин.

– Да надо думать – с нашими войсками в Эрзеруме, – отвечал Плетнев. – Последнюю весточку о себе – прелестнейшие стихи, от которых так и веет Кавказом, – он прислал мне с берегов Терека.

– А вы их не знаете наизусть? Память у вас, Петр Александрович, на стихи ведь самая счастливая.

– Эти-то довольно длинны... Конец, впрочем, пожалуй, знаю:

... И нищий наездник тaitся в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;
Играет и воеет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

Ну кто еще у нас, скажите, в состоянии написать подобную картину? – с умилением заключил Плетнев.

– Художник, что и говорить, – согласился Смирдин. – Но у нас нарождаются уже новые таланты.

Добавил он последнюю фразу тоном не столько ироническим, сколько добродушно-игривым, так что Гоголь невольно поднял голову. Так и есть! Злодей-книгноторговец, с улыбкой поглядывая в его сторону, берет с полки и подает Плетневу маленькую, тоненькую книжонку, – очевидно, его «Ганца».

– Да вы вот о ком! – сказал Плетнев. – Вещица эта мне уже известна. Молодой автор был столь внимателен, что доставил мне экземпляр своей поэмы. Но оригинального в ней, сказать между нами, очень мало.

– Он подражает, должно быть, тоже Пушкину?

– Как вам сказать? Кое-что, точно, навеяно будто «Онегиным»: есть у него и своя Татьяна с няней, и сон Татьяны, и письмо Онегина... Но в общем он взял себе в образец немца Фосса и именно идиллию его «Луиза». Действие происходит точно так же в Германии; даже имя героини – Луиза; у Фосса она – дочь пастора, у Алова – пасторская внучка. Там и здесь кушают очень вкусно, там и здесь кончается свадьбой...

– Так что книге господина Алова вы не предрекаете особенного сбыта?

– Это бы еще не беда: есть книги, которые покупаются, да не читаются; есть другие, которые читаются, да не покупаются; но есть и такие, которые только пишутся, но не покупаются и не читаются.

– И к этому-то третьему разряду вы относите «Ганца Кюхельгартена»?

– Может быть, я и ошибаюсь, – продолжал все так же мягко Плетнев. – Дай Бог! Всякому такому начинающему автору впереди, конечно, мерещится слава. Но всякого из них я глубоко сожалею и хотел бы предостеречь словами Карамзина: «Слава, подобно розе любви, имеет свое терние, свои обманы и муки. Многие ли бывали ею счастливы? Первый звук ее возбуждает гидру зависти и злословия, которые будут шипеть до гробовой доски и на самую могилу вашу излиют яд свой». И Алову не избежать той же участи: журнальные людоеды, боюсь, съедят живьем беднягу.

– А за него разве уже принялись?

– Принялись – в «Московском Телеграфе», и, по-моему, даже чересчур жестоко.

– Но Полевой, кажется, человек умный, европейски цивилизованный...

– Да, людоед, умеющий уже обходиться с помощью ножа и вилки.

В глазах у Гоголя потемнело, руки и ноги у него похолодели, колени задрожали. Он должен был ухватиться за край прилавка и, сам не зная как, выбрался вон из магазина. Четверть часа спустя он в общей зале Публичной библиотеки отыскивал в последнем номере «Московского Телеграфа» рецензию «цивилизованного людоеда». Каково же ему было прочесть следующее о своем дорогом «Ганце»:

«Издатель сей книжки говорит, что сочинение г. Алова не было назначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем,

что еще важнейшие причины имел автор не издавать своей идиллии. Достоинство следующих стихов укажет на одну их сих причин:

Мне лютые дела не новость;
Но демона отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За остальную жизни повесть...

Заплата таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Зашипела гидра! О славе пока, конечно, уже и не мечтай. Да и что в ней, в самом деле? Не говорится ли и в его «Ганце»:

Лучистой, дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отрава...

А чем, например, этот куплет нехорош? В том же «Московском Телеграфе» попадают стихи куда слабее. Погодим, что скажут другие...

С отравленным сердцем, но высоко поднятою головой непризнанный автор отправился восвояси. Здесь, при входе его в комнату, навстречу ему вскочил со стула краснощекий молодец.

– Вот и мы в вашей Северной Пальмире!

– Красенький! – успел только произнести Гоголь и очутился уже в объятиях нежданного гостя.

То был Прокопович, давнишний его нежинский если не друг, то приятель и самый верный пособник его в товарищеских спектаклях. Будучи классом ниже Гоголя, он теперь только окончил курс «гимназии высших наук» князя Безбородко и тотчас покотился попытать счастья в Северную Пальмиру.

– Вот и мы! – повторял он, потирая свои мягкие, влажные руки и в третий или четвертый раз от полноты чувств прижимая к груди Гоголя. – Ну, что, дружище, как тебе здесь живется? Где пристроился? Часто выдаешься с Данилевским?

Радость свидания так и светилась в его голубых, на выкате, бесхитростных глазах, во всем его свежем, лунообразном облике. Не дослушав, что отвечал ему приятель, он подскочил вдруг к своему раскрытому на полу чемодану и, порывшись, с торжествующим видом достал со дна его небольшую книжку.

– Привет с Украины – Котляревского «Энеида»! В Москве, брат, один землячок хотел было насильно отобрать у меня, но я отвоевал для тебя.

– Так ты ехал через Москву?

– Понятное дело! Как же было не посмотреть на царь-колокол и на царь-пушку, на Ивана Великого и на Михаила Погодина – пока еще не столь великого? Последний повез меня, разумеется, тотчас в Симонов монастырь поклониться праху бедного Веневитинова. Прекрасную эпитафию начертал на его надгробном камне старик Дмитриев:

Здесь юноша лежит под хладною доской,
Над нею роза дышит,
А старость дряхлою рукой
Ему надгробье пишет.

Ну, да ведь кому жить, кому помирать. Помнишь ведь нашего милого Ландражина? «Le roi est mort – vive le roi!»⁹ А мы с тобой можем воскликнуть: «Умер поэт – да здравствует поэт!» Яким твой выдал мне сейчас под секретом, что ты напечатал уже целую книжку стихов...

– Вот вздор-то! Чепуха! А ты и поверил? Ха-ха-ха-ха! – рассмеялся Гоголь, но смех его вышел не совсем естествен. – Дурень этот видел, что мне приносят из типографии какие-то печатные листы, и с великого ума заключил, что писание это мое.

– А то чье же?

– Да просто корректура, которую я веду для типографии; платят хоть гроши, но досуга у меня ровно двадцать четыре часа в сутки.

– Но зачем же ты покраснел? Ну, ну, ладно, не буду. А знаешь ли, Яновский, как я этак погляжу на тебя, ты вовсе мне ведь не нравишься.

– Яновского, брат, уже нет – ау! Есть только Гоголь. Чем же я тебе не нравлюсь?

– Всем видом твоим: и как-то осунулся, и покашливаешь, и завел себе на лице какие-то бутоны...

Гоголь горько усмехнулся.

– Лето – ну, и цвету! Доктор уверяет, что это от золотухи, – продолжал он, переходя на серьезный тон. – Но я так полагаю, что вообще от слабой комплекции. Вон у стены видишь стул о трех ножках.

– Ну?

– Сколько времени стоит он уже так, прислонясь, а стоять твердо не научился. Так вот и я: простудился весной – и все не могу оправиться: в горле скребет, грудь ломит, на лице эти украшения...

– Да ты еще и мальчиком ведь был худенький, хиленький. Как сейчас помню, как тебя родители привезли из деревни в гимназию. Смотрю: что такое? Раскутывают какую-то маленькую фигурку из целой кучи одеял, платков, мехов, точно куколку из ваты. Раскутали – у меня, признаться, даже сердце сжалось: ах, бедненький! Вокруг глаз веки вздутые и красные, лицо все в пятнах, уши повязаны пестрым платком...

– Да, я страдал тогда и ушами. Натура, говорю тебе, подлая.

– Так тем нужнее тебе, голубчик, принять радикальные меры, чтобы поправить изъяны натуры.

– Доктор тоже советует мне съездить в Любек: морским воздухом-де заживить грудь и горло, а купанием в Травемюнде – кожу. О, как охотно я последовал бы его совету! Сегодня же, сию минуту сел бы на пароход, чтобы убраться из этого гнилого болота и никогда уже не возвращаться!

Слова эти вырвались у Гоголя чуть не воплем отчаяния, так что и Прокопович, при всей своей простоте, понял, что приятель его страдает не только телом, но и духом. Как узнать его тайну, чтобы помочь страдальцу? Не лучше ли спросить прямо?

– А знаешь что, Николай Васильевич: мне сдается, что к тебе за воротник забралась букашка.

Гоголь, шагавший из угла в угол, в недоумении остановился перед приятелем.

– Букашка? Какая букашка?

– А почему я знаю! Я сам хотел спросить тебя. В деревне тебе, без сомнения, случалось гулять в обществе по полям, по лугам?

– Сколько раз.

– Так вот; усядешься ты, бывало, с другими отдохнуть на траву, болтаешь, шутишь; как вдруг – о ужас! – чувствуешь, что у тебя по спине ползет что-то. Ты продолжаешь говорить,

⁹ Король умер – да здравствует король! (*фр.*).

приятно улыбаться, но в то же время мысленно невольно следишь за путешествием непрошеного гостя по твоему телу, и нет у тебя уже другой мысли, как бы отделаться от этой мелкой, но ненавистной нечисти...

– И удрать для этого хоть в Любек? – досказал Гоголь. – Но ни тебе, любезный, ни кому другому до моей букашки нет дела, и отряхаться от нее публично я никогда не буду. Так и знай!

– Да я, брат, из одной дружбы...

– Настоящая дружба не залезает лапой куда не просят, хотя бы и за букашкой.

– Ну, хорошо, хорошо, не буду. Поселившись вместе с Гоголем, Прокопович имел теперь полную возможность во всякое время дня наблюдать за ним и с каждым днем все более убеждался, что по спине его друга, действительно, ползет букашка. Но и Якиму, видно, была дана барином на этот счет строгая инструкция, потому что на все расспросы у него был один ответ: знать не знаю, ведать не ведаю.

Сам Гоголь между тем сделался ежедневным посетителем знакомой кофейни и тщательно просматривал все получавшиеся там петербургские и московские газеты: не отзовется ли еще кто об его букашке – «Ганце»? И вот 20 июля в «Северной Пчеле» ему тотчас бросилась на глаза следующая библиографическая заметка:

«Идиллия сия состоит из осьмнадцати картин. В сочинителе заметно воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи, ибо издатели говорят, что „это произведение его восемнадцатилетней юности“; но скажем откровенно: сии господа издатели напрасно „гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомить с созданием юного таланта“. В „Ганце Кюхельгартене“ столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слове и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Не лучше ли было б дожидаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного?»

– Господин! Что вы делаете? – раздался над его ухом испуганный окрик полового.

Тут только Гоголь заметил, что судорожно мял и комкал газету. Пробормотав что-то в свое оправдание, он выпустил газету из рук и выбежал вон на улицу.

Весь Петербург, вся Россия прочитает ведь эту ядовитую отповедь; многие, конечно, и теперь уже прочли. Вон и прохожие смотрят на него как-то странно, точно им кто подсказал, что вот, мол, автор чудовищной поэмы! Но откуда же им знать-то? Даже книгопродавцам он, к счастью, не открыл своего настоящего имени. Теперь схоронить бы лишь концы. Но как? Дома – Прокопович, а ему признаться в своем позоре невозможно... Да! Так всего лучше.

Взбежав впопыхах на свой четвертый этаж, он, не снимая плаща, достал из комода пачку комиссионных квитанций книжных магазинов и украдкой сунул в карман, чтобы не заметил Прокопович, сидевший тут же на диване с книгой.

– Ты что же это, брат, не раздеваешься? – спросил Прокопович, поднимая голову. – Уходишь снова?

– Да...

– Так я, пожалуй, прогуляюсь с тобою; не мешает тоже проветриться.

– Но я по делу...

– Ну что ж, я провожу тебя; может быть, могу быть тебе еще полезен.

– Нет, нет, спасибо... Не такое дело... Я возьму Якима... Мы поедем на извочике... отсюда далеко...

– Но отчего, скажи, я не могу заменить Якима? Я всегда рад услужить тебе, дружище. В чем дело?

Вот привязался! Чтобы тебе, дружище, провалиться с твоими услугами!

– Объяснять долго, – отвечал Гоголь вслух, – да и дело для тебя вовсе неинтересное. Эй, Якиме!

– Эге!

– Бери картуз и иди со мной.

От Столярного переулка до Банковского моста рукой подать. Здесь был нанят на часы ломовой извозчик.

– Да что мы, опять съезжаем? – проворчал Яким.

– Нет, мы объедем всех книжников и соберем все мои книги, – объяснил барин. – Но об этом ни Николаю Яковлевичу, ни кому другому ни гугу. Понимаешь?

– Понимаю... а все ж таки ничего не понимаю!

– И нечего тебе понимать. Не для Гриця паляница. Начиная с Смирдина и кончая Глазуновым, они объездили всех книжников, которые не без удивления, но, по-видимому, и без сожаления возвращали все показанные в квитанциях экземпляры злосчастного «Ганца». Яким только головой качал, укладывая пачку к пачке на подводу.

– А теперечки куды?

– Сейчас узнаешь.

Уже прежде как-то в своих «географических» странствиях по столице Гоголь заметил в одном глухом переулке надпись над подъездом «Номера». Перед этим-то подъездом остановил он свой транспорт, сам поднялся наверх и нанял номер, а затем приказал Якиме тащить туда книги. За отсутствием в летнюю пору постояльцев, коридорный охотно помогал Якиме при этой операции.

– Прикажете самовар? – спросил он Гоголя, когда была внесена последняя пачка.

– Ничего мне не нужно, кроме покоя! На, получи и проваливай!

Гоголь сунул ему в руку пятиалтынный и захлопнул дверь перед его носом. Яким стоял посреди комнаты, отдуваясь от перенесенных трудов, и с недоумением следил глазами за баринном: что-то у него на уме? Вишь ты, достал из угла кочергу, открыл дверку печки и шарит внутри.

– Открой-ка, братику, трубу.

Яким вместо того только рот разинул.

– Я не о твоей трубе говорю, а о печной... Вьюшку вынь, слышишь?

– Да на что, паночку? Невже в такую духоту топить еще станем? Да и дров-то не положено...

– И без них затопим. Делай, что приказывают, и не мудри, пожалуйста.

Яким вынул вьюшку. Барин же тем временем засветил свечу, поставил ее на пол около открытой печки, пододвинул себе стул и уселся с кочергой в руках.

– Ну, а теперь развязывай-ка пачки.

– Царица Небесная! Что вы, паночку, затеваете?

– Аутодафе.

– Это что же такое?

– А сейчас увидишь. Развязывай же, говорят тебе, да поближе сюда подвинь. Ну, скоро ли?

Взяв верхнюю книжку из развязанной пачки, Гоголь разодрал ее по листам, зажег последние на огне и бросил в глубину печки, после чего принялся точно так же за следующую книжку.

Яким, не без основания вообразив, что бедный барин спятил с ума, хотел было удержать его за руку. Но Гоголь отстранил его и злобно рассмеялся.

– Слыхал ты, братику, или нет, что в былые времена еретиков, да и книги их еретические, на кострах сжигали?

– Где слышать-то!

– Так этакая-то штука и называется аутодафе.

– Важный дидько в свою дудку грае! Ой, лихо! А ваши книжки хйба тоже еретические?

Гоголь снова усмехнулся.

– Да, ересь поэтическая...

– Какая там ни будь, а коли ересь, так, знамо, лучше сжечь! Ах, ах, до чего мы дожили! Да нельзя ли хошь в мелочную лавочку сбыть?..

– Чтобы там сельди завертывали? Удружил! Для этого моя ересь все-таки слишком хороша. Однако на вот кочергу: можешь тоже подсоблять.

И стал Яким подсоблять барину: один рвал книжки и предавал их огню, другой поворачивал вспыхивавшие листы кочергою, чтобы лучше горели, и в какой-нибудь час времени вся поэтическая ересь, потребовавшая на свое создание целых два года, в количестве без малого шестьсот экземпляров в искрах и дыме вылетела буквально в трубу.

О, если бы чудом каким-нибудь с неба свалился крупный, тысячный куш, чтобы на первом же иностранном пароходе умчаться на край света! Ведь совершались же чудеса в былое время? Отчего бы не быть им и в девятнадцатом веке?

Глава шестая

Без оглядки

– А к тебе, брат, из почтамта пришла повестка и на тысячную сумму.

Таковыми словами встретил Гоголя дома Прокопович. У того и руки опустились. Вот оно, чудо-то!

– Что с тобой, Николай Васильевич? – озабоченно спросил Прокопович, видя, что приятель его совсем изменился в лице и стоит как вкопанный.

Тут только Гоголь очнулся и быстро подошел к столу, на котором лежала повестка.

Верно: «Денежный пакет на 1450 рублей». Да на его ли имя? Как же: «Николаю Васильевичу Гоголю-Яновскому».

– От кого бы это могло быть? – заговорил опять Прокопович, вслух произнося вопрос, который мысленно задал себе уже сам Гоголь. – Ты, может быть, писал своей матушке о своей болезни, просил выслать тебе на поездку в Любек?

А что же? Хоть он и не просил именно на это денег, но маменька знает о совете докторов и по своей безграничной доброте достала для него где-нибудь... А если деньги не от нее? От кого бы ни были, разве они могут иметь теперь какое-нибудь иное назначение?

– Писал, да, – отвечал он и взглянул на часы. Экая ведь досада! Уже пятый час, почтамт закрыт; придется ждать до завтра.

Давно не проводил он такой беспокойной ночи; с восходом солнца он не мог уже сомкнуть глаз, а в половине восьмого был на ногах. Яким едва успел уговорить барина выпить перед уходом хоть стакан чаю. Второпях он обжег себе горячим чаем и глотку, и внутренности. Ну, да черт с ними! Почтамт ведь открывается уже в восемь.

Прокопович оказался прав: денежный пакет был, в самом деле, от матери Гоголя, но – увы! – не на поездку его в Любек. Васильевка ее была заложена в ссудной казне опекунского совета, и все высланные 1450 рублей она поручала сыну внести туда в уплату срочных процентов, горько жалуясь при этом, что только сосед Борковский согласился ссудить ее такую крупную суммой, но тут же отобрал у нее большой медный куб из винокурни...

Эх, маменька, маменька! Куб кубом, а ведь и сын-то единственный, будущая опора в жизни, чего-нибудь да стоит? Остаться в Петербурге разве не то же, что дать свезти себя прямо на Волково? Протянешь еще, пожалуй, месяц-другой, а там Прокопович отправит к ней лаконичную, но громовую цидулу: «С душевным прискорбием имею честь уведомить, что любезнейший сын ваш Николай волею Божию...» и т. д. И весть эта убьет несчастную, наверное убьет! Пусть она читает ему чуть не в каждом письме «мораль», да ведь все от безмерной родительской любви. Вот и теперь даже к этому письму приложила целый ворох материалов о малороссийских обычаях и поверьях, которые он просил собрать для него. Каких хлопот ей это, верно, стоило! Ах, маменька, милая, бесценная моя! Что мне делать, чтобы не слишком огорчить ее да и сохранить ей сына? Творец Небесный, просвети Ты меня!

Терзаясь таким образом, он безотчетно шел себе вперед да вперед – сперва по Почтамтской, потом по Малой Морской, пока не уперся в Невский. Здесь повернул он в сторону Казанского собора, а увидев его перед собою, как бы подталкиваемый невидимой силой, поднялся на паперть и вошел в собор. На улице, вне стен соборных, слепило и жгло июльское солнце, гудел и грохотал многолюдный город. Здесь вошедшего разом охватило торжественным безмолвием, прохладным полумраком, словно он вступил в совершенно иной, неземной мир. И в самом отдаленном притворе он опустился на колени, чтобы припасть пылающим лбом к холодному каменному полу...

Когда он, полчаса спустя, вышел опять из собора, на душе у него не то чтобы полегчало, но было зловеще-спокойно, как у больного, приговоренного врачами к смерти: что пользы волноваться? По крайней мере, чист перед людьми и перед Богом. Сейчас снесет всю сумму в ссудную казну, а там будь что будет! Который час-то? Только девять. Никого из господ чиновников там, конечно, еще не застанешь. Пройтись разве покамест по набережной Невы? Немножко хоть освежиться от этого несносного зноя...

Со взморья, действительно, веял преприятный, живительный ветерок, и Гоголь впивал его полную грудью. Точно ведь здоровье глотками пьешь! Вот бы куда, в море, за море!

И алчущий взор его устремился вниз по Неве ко взморью. А на том берегу, за Академией художеств, виднелся целый лес корабельных мачт и дымящихся паровых труб. Не иностранные ли то суда? Эх-эх-эх! А любопытно все же взглянуть, на котором из них он укатил бы в Любек?

И вот он уже на мосту, вот и на Васильевском за академией, против 10-й линии. Вблизи, отдельно взятые, суда эти на вид как-то менее надежны и не так уж привлекательны, за исключением разве вот этого, пузатого, массивного, своею солидностью да и опрятностью внушающего невольное доверие.

– Куда идет этот пароход? – обратился Гоголь к одному из судорабочих, которые гуськом, один за другим, перетаскивали туда с берега хлебные кули.

– Nach Lübeck, mein Herr¹⁰, – отозвался за рабочего мужчина с загорелым, обветрившимся лицом, очевидно капитан, наблюдавший на палубе за погрузкой и производивший своей коренастой фигурой, своим решительным видом столь же внушительное впечатление, как и его пароход. – Дней через пять снимемся уже с якоря. Если вы собираетесь за границу, то лучшей оказии вам не найти. Милости просим.

Благодаря усердному чтению немецких авторов в последний год своего пребывания в нежинской гимназии, Гоголь не только изрядно понимал обыкновенную немецкую речь, но и сам мог объясняться с грехом пополам с немцами.

– Мне и то представлялся случай ехать за границу, – отвечал он со вздохом. – Но дело расстроилось...

– Ну, может быть, еще и устроится. Перевезу я вас не дороже других; а удобства, комфорт – даже в каюте второго класса. Или вы взяли бы место в первом?

– Нет, в первом ни в каком случае.

– Ну что ж, и во втором прекрасно, да и общество более обходительное. Не угодно ли самим осмотреть каюту?

– Благодарю вас; но так как я все равно не поеду...

– Что ж такое? Посмотрите – и только. За погляденье мы ничего не берем. В другой раз поедете; я ведь здесь в Петербурге не в первый раз и не в последний.

Как было устоять против такого любезного приглашения? Ведь, в самом деле, можно теперь и не ехать, а вперед приглядеть себе на всякий случай хорошенькое, уютное местечко...

Перебравшись по сходням на пароход, Гоголь следом за капитаном спустился по трапу в каюту второго класса.

– Вот, извольте видеть, общая каюта, – объяснял капитан. – Тут вы встречаетесь, знакомитесь с другими пассажирами, людьми всяких наций. Человеку молодому, как вы, это должно быть даже поучительно для изучения нравов.

– Гм... А где же отдельные каюты?

– Кают отдельных нет, но есть отдельные койки за занавесками, что, в сущности, одно и то же. Вот, не угодно ли взглянуть: задернетесь этак занавеской – и никто вас не видит, не беспокоит. Верхние койки имеют еще то преимущество, что у каждой свой иллюминатор. –

¹⁰ В Любек, господин (нем.).

Капитан указал на круглое оконце в борте судна. – Свету довольно; можете читать или мечтать – *ad libitum*¹¹. Матрац мягкий, белье чистое. Хотите свежим воздухом подышать – откроете иллюминатор, как форточку в спальне. Мало вам этого – подниметесь на палубу, гуляете там на просторе хоть до зари. Ночи теперь в июле ведь теплые, южные, а морской воздух – тот же жизненный эликсир, здоровее даже воздуха Альп. Цвет лица у вас, *mein lieber Herr*, простите, совсем нездоровый. Поговорите с докторами: они наверняка присоветуют вам такую поездку морем.

– Доктор мой и то рекомендовал мне морские купанья в Травемюнде...

– Ну, вот! Что же я говорю? А от Любека до Травемюнде рукой подать. Нет, право же, молодой человек, подумайте о своем здоровье: здоровье дороже денег. Да скорее решайтесь: свободных у меня осталось всего три койки.

Искуситель, ох искуситель!

– А которые у вас еще не заняты? – спросил Гоголь возможно равнодушным тоном, но голос у него словно осекся, застрял в горле.

– Вон те две нижние да вот эта верхняя. На вашем месте, признаться, я взял бы верхнюю: неравно с соседом вашим морская болезнь приключится. Прикажете сохранить для вас?

– Уж, право, не знаю...

– Я вам ее сохранию; но не долее, как на два дня: на сегодня и завтра.

– Благодарю вас, но пока я вовсе ведь еще не решился... – А решиться вам надо, и до завтрашнего вечера я, во всяком случае, просил бы вас дать мне окончательный ответ, потому что могут явиться другие желающие.

– Хорошо... До свиданья.

– До свиданья. Не упускайте же случая! Пожалеете потом, да поздно.

В душе Гоголя поднялась целая буря; куда девалось давешнее хладнокровие! Сыновний долг – великое дело, но в данном случае и обоюдоострое: исполнит ли он свой сыновний долг, если пожертвует собою? Нельзя ли разом достигнуть двух целей? Что, если уплата процентов опекунскому совету не так уже срочна?

Петербургские чиновники собирались тогда на службу куда ранее, чем в наше время. Несмотря на ранний час (пробило всего десять), Гоголь застал уже всех на своих местах. Оказалось, что плательщикам давалось четыре льготных месяца, с уплатою пени по пяти рублей с тысячи. Этакую-то пенью кто не уплатит! До ноября маменька весь урожай сбудет и, конечно, уж не затруднится выслать опять полную сумму, а сын у нее будет спасен.

И чтобы не упустить okazji спастись, сын взял, не рядясь, извозчика на Васильевский и погонял его как на пожар.

– Здравствуйте, господин капитан.

– А! Здравствуйте. Что же, решились?

– Решился. Та верхняя койка, которую вы мне предлагали, еще ведь не сдана?

– Нет, я ждал вашего ответа.

– Считайте ее за мною. А когда отъезд?

– Дней через пять, как сказано, а может, даже и через четыре: это зависит от погрузки.

Как бы то ни было, вам надо теперь же озаботиться насчет заграничного паспорта; не то может выйти у вас задержка. Деньги за билет позвольте уже получить?

– Получите.

Надо ли говорить, как был удивлен Прокопович, а вечером и навестивший товарищей Данилевский, когда Гоголь предъявил им билет с надписью: «*Von St.-Petetsburg nach Liibeck*». Но оба были за него сердечно рады, а Данилевский предложил ему на дорогу и свою шубу, так

¹¹ По своему усмотрению (*лат.*).

как в конце сентября, ранее которого Гоголь не располагал вернуться, на море должно было быть уже холодно и бурно.

Выправка заграничного паспорта потребовала немало беготни, убеждений, просьб. Но к вечеру 24 июля все формальности были соблюдены, и паспорт лежал уже в кармане. Впереди оставался еще целый день для укладки. Но одно дело не было еще сделано, самое трудное; он нарочно отдалял его, как бы боясь поколебаться в своем решении. Но долее откладывать его уже не приходилось; надо было взяться за перо, и он выставил в заголовке одно только слово:

«Маменька!»

Это был крик нестерпимой боли, вопль отчаяния, который должен был сказать чуткому материнскому сердцу гораздо более, чем почтительные, но избитые уже эпитеты: «бесценнейшая», «драгоценнейшая», «почтеннейшая» и прочие.

«Не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего, но знаю только то, что вы не будете покойны. Говоря откровенно, кажется, еще ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, великодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.

Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливим наказанием тяжкую десницу Всевышнего... Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы!..»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.